

На острове Спиналонга, к северу от Крита,
с 1903 по 1957 год
находился главный греческий лепрозорий.

Плака, 1953 год

Холодный ветер проносился по узким улочкам Плаки, и осенний воздух пронизывал женщину, парализуя тело и ум, что почти лишало ее ощущений, но никак не могло смягчить ее горе. Одолевая последние несколько метров до причала, она тяжело опиралась на своего отца, и походка ее казалась похожей на походку древней старухи, которой каждый шаг причиняет боль. Но ее боль не была физической. Тело женщины оставалось таким же сильным, как у любой молодой женщины, которая всю свою жизнь дышала чистым воздухом Крита, ее кожа была такой же свежей, а глаза, ярко-карие, были такими же, как у любой девушки на этом острове.

Маленькое суденышко, нагруженное странной формы узлами, скрепленными между собой веревкой, подпрыгивало и качалось на воде. Пожилой мужчина медленно спустился в лодку и, одной рукой пытаясь удержать судно, другую руку протянул дочери. Когда та очутилась на борту, он старательно укутал ее одеялом. Единственным признаком того, что женщина не была просто еще одним предметом груза, стали длинные пряди темных волос, свободно развевавшихся на ветру. Старик аккуратно отвязал от причала канат — и их путешествие началось.

Это не была короткая поездка ради доставки каких-то припасов. Это был путь в один конец, для начала некой новой жизни. Жизни в колонии прокаженных. Жизни на Спиналонге.

Часть 1

Глава 1

Плака, 2001 год

Освобожденный канат взлетел в воздух и осыпал обнаженные руки женщины каплями морской воды. Капли вскоре высохли, и когда жаркие лучи солнца упали с безоблачного неба на женщину, она заметила, что ее кожа поблескивает от образовавшегося на ней узора соляных кристаллов, подобно татуировке с бриллиантами.

Алексис была единственной пассажиркой на маленьком старом судне, и когда оно с пыхтением отошло от причала и двинулось в направлении одинокого, безлюдного острова, она слегка содрогнулась, подумав обо всех тех мужчинах и женщинах, которые отправлялись туда до нее.

Спиналонга. Алексис и так и этак рассматривала это слово, вертела его на языке, как оливковую косточку. Остров лежал прямо впереди перед ними, и по мере того, как судно приближалось к мощным венецианским укреплениям, смотревшим на море, Алексис ощутила одновременно и тягу к прошлому острова, и гнетущее чувство от того, чем он стал в настоящем. Этот остров, размышляла она, может оказаться местом, где история до сих пор полна живого тепла, это не холодные камни — там есть реальные, а не мифические обитатели. И как же все здесь отличалось от тех древних дворцов и мест давних поселений, среди которых она пробыла несколько последних недель, и даже месяцев... и даже лет.

Алексис могла бы провести и еще какое-то время, бродя среди руин Кносса, мысленно создавая кар-

тины жизни, которая могла протекать здесь больше четырех тысяч лет назад. Однако в последнее время она начала чувствовать, что это было настолько далекое прошлое, что оно почти не поддавалось воображению и уж точно не слишком ее интересовало. Хотя Алексис имела ученую степень по археологии и работала в музее, интерес к теме угасал у нее с каждым днем. Ее отец был академическим ученым, страстно преданным своим исследованиям, и Алексис выросла в искреннем убеждении, что должна пойти по его пыльному следу. Для таких, как Маркус Филдинг, никакая древняя цивилизация не была удалена в прошлое настолько, чтобы он мог потерять к ней интерес. Но для Алексис, которой уже стукнуло двадцать пять, даже волны, мимо которых она проезжала сегодня утром, выглядели куда более значимыми и уместными в ее жизни, чем Минотавр в легендарном Критском лабиринте.

Направление, которое приняла ее научная карьера, перестало беспокоить Алексис. Куда важнее оказалась проблема, возникшая из-за Эда. Но когда они в дни последнего отпуска наслаждались мягким теплом на их греческом острове, под эпохой некогда обещанной вечной любви была медленно подведена черта. Их отношения расцвели в изысканном микрокосме университета, но во внешнем мире они начали увядать, и теперь, три года спустя, их пора уже было выдернуть с корнем, поскольку они не перенесли пересадки из оранжереи на газон.

Эд был хорош собой. И это являлось фактом, а не чьим-то мнением. Но его замечательная наружность иногда раздражала Алексис точно так же, как и все остальное. Ей казалось, что внешность не служит оправданием его высокомерия, а иной раз и вызывающей зависть самонадеянности.

Похоже, они оказались вместе по принципу «противоположности сходятся». Алексис, со светлой кожей, темными глазами и волосами, — и Эд, светлого-

лосый, голубоглазый, почти арийского типа. Но иной раз Алексис ощущала, как ее собственная более широкая натура буквально обесцвечивается под давлением Эда с его потребностью в дисциплине и порядке. Алексис понимала, что это не то, чего ей хотелось, — даже самые малые проявления спонтанности, которых она жаждала, в глазах Эда выглядели проклятием.

Многие другие его положительные качества, большинство из которых весьма высоко ценились в мире, начали доводить ее до безумия. И прежде всего неколебимая уверенность. Она была неизбежным результатом твердого знания Эда о том, какой путь ожидает его впереди, он знал это с момента своего рождения. Эду была гарантирована пожизненная работа в юридической фирме, и годы будущего представлялись ему в виде predeterminedного продвижения по служебной лестнице и жизни в заранее обозначенных районах.

А единственное, в чем была уверена Алексис, так это в их растущей несовместимости. И в дни того отпуска она все больше и больше времени посвящала размышлениям о будущем и в этом будущем вообще не видела Эда. Даже в домашних привычках они не сходились. Зубная паста неправильно выжималась из тюбика. Но виновной всегда бывала Алексис, не Эд. Его реакция на ее промахи была следствием его взглядов на жизнь в целом, и Алексис обнаружила, что его требования к безупречной аккуратности слишком высоки. Она приучала себя ценить его страсть к порядку, но обижалась на молчаливое неодобрение немного хаотичного образа жизни, привычного ей. И постоянно вспоминала, что именно в темном, захламленном кабинете отца она чувствовала себя дома, а родительская спальня, для которой мать выбрала светлые стены и гладкие, безупречно чистые поверхности, вызывала в ней содрогание.

Все всегда должно было идти по правилам Эда. Он принадлежал к числу золотой молодежи: без усилий занимал первое место в учебе и из года в год одерживал победы в спорте. Идеальный староста. Он вырос в уверенности, что весь мир — его личное пространство, но Алексис пришла к выводу, что не должна быть заключена в нем. Могла ли она поступиться своей независимостью и жить с Эдом, раз уж так очевидно, что все к этому и идет? Слегка обшарпанная арендованная квартирка в Крауч-Энде против изысканных апартаментов в Кенсингтоне — не была ли она сумасшедшей, отказавшись от последних? Вопреки ожиданиям Эда, что Алексис осенью переедет туда вместе с ним, она должна была спросить себя: а зачем жить вместе, если они не собираются пожениться? Да и был ли Эд тем мужчиной, которого она хотела бы видеть отцом своих детей?

Такая неуверенность мучила Алексис много недель, даже месяцев, но рано или поздно надо было набраться храбрости и что-то предпринять. Эд столько сил приложил, организовывая этот отпуск, и едва ли заметил, что Алексис с каждым днем молчит все больше и больше.

Как отличалась эта поездка от тех каникул, которые она проводила на греческих островах в студенческие годы, когда они с подругами были свободны и лишь прихоть диктовала им маршруты долгих путешествий под палящим солнцем. Они сами решали, в какой бар им зайти, на каком пляже поваляться и как долго оставаться на том или другом острове — просто бросали в воздух монетку в двадцать драхм, и все. Трудно поверить, что жизнь когда-то могла быть такой беспечной. А это путешествие было переполнено спорами с собой и самокопанием, и борьба эта началась задолго до того, как Алексис обнаружила, что стоит на земле Крита.

«Как я могу быть настолько неуверенной в будущем, когда мне уже двадцать пять? — спрашивала

себя Алексис, укладывая вещи для поездки. — Вот я здесь, в квартире, которая мне не принадлежит, собираюсь взять отпуск на работе, которая мне не правится, и отдохнуть с мужчиной, до которого мне едва ли есть дело. Да что это со мной?»

Мать Алексис, Софья, в таком возрасте уже несколько лет была замужем и успела родить двоих детей. Какие обстоятельства вынудили ее созреть так рано? Как она умудрялась быть такой домовитой, тогда как Алексис до сих пор ощущала себя ребенком? Если бы Алексис побольше знала о том, как именно ее мать смотрела на жизнь, возможно, это помогло бы ей принять собственное решение.

Но Софья всегда рьяно охраняла свое прошлое, и с годами ее скрытность превратилась в некий барьер между ней и дочерью. Алексис казалось смешным то, что в ее семье поощрялось изучение прошлого человечества, но при этом ей не позволялось направить увеличительное стекло на собственную, личную историю. Ощущение того, что Софья что-то скрывает от своих детей, приводило к тому, что в их души закрадывалось недоверие. Софья Филдинг как будто не только закопала поглубже свои корни, но еще и утоптала землю над ними.

У Алексис был только один ключ к прошлому матери: поблекшая свадебная фотография, стоявшая на столике у кровати всегда, насколько Алексис себя помнила, — затейливая серебряная рамка почти истерлась от постоянной полировки. В раннем детстве, когда Алексис использовала родительскую кровать как батут для прыжков, изображение улыбающейся, но напряженной пары на фотографии взлетало и опускалось перед ней. Иногда она спрашивала мать о прекрасной леди в кружевах и о мужчине с платиновыми волосами. Как их звали? Почему у него седые волосы? Где они теперь? Софья отвечала чрезвычайно коротко: это ее тетя Мария и дядя Николаос, они жили на Крите, а теперь уже

оба умерли. Тогда Алексис этого вполне хватало... Но теперь ей нужно было знать больше. В этом фотоснимке было нечто особенное: это ведь единственная фотография в рамке во всем доме, кроме снимка самой Алексис и ее младшего брата Ника. Пара на снимке явно имела большое значение для матери, и тем не менее Софья неохотно говорила об этих людях. И даже более чем неохотно — она проявляла редкостное упорство. Когда Алексис немного повзрослела, она научилась уважать желание матери уединяться, потому что, став подростком, и сама иной раз испытывала острую потребность запереться в своей комнате и ни с кем не общаться. Но теперь она и это переросла.

Вечером накануне того дня, когда она должна была отправиться на отдых, Алексис приехала в родительский дом, викторианский особнячок с террасой на тихой Баттерси-стрит. Это было семейной традицией — ужинать в местной греческой таверне перед тем, когда Алексис или Ник в начале нового учебного года собирались уехать в университет или же отправлялись куда-нибудь за границу, — но на этот раз у Алексис была и другая причина для визита. Ей хотелось посоветоваться с матерью о том, как ей быть с Эдом, и, что не менее важно, задать несколько вопросов о прошлом Софьи. Приехав на добрый час раньше, Алексис была полна решимости уговорить мать, чтобы та приподняла завесу. Пусть даже ради тонкого лучика света.

Алексис вошла в дом, бросила тяжелый рюкзак на кафельный пол, а ключ — на старый бронзовый поднос, стоявший на полке в прихожей. Ключ упал на поднос с громким звоном. Алексис знала, что мать больше всего ненавидит, когда ее застают врасплох.

— Привет, мам! — крикнула она в тихое пространство коридора.

Полагая, что мать должна быть наверху, Алексис помчалась по лестнице, перепрыгивая через ступень-

ку, а войдя в спальню родителей, как всегда, восхитилась безупречной аккуратностью. Скромная коллекция бус висела на углу зеркала, да три флакона духов выстроились в ровный ряд на туалетном столике Софии. И больше ничего лишнего в комнате не было: никаких намеков на личность матери Алексис или ее прошлое, ни картин на стенах, ни книг у кровати. Только одна-единственная фотография в рамке рядом с постелью. Несмотря на то что София делила это пространство с Маркусом, оно принадлежало только ей, и страсть матери к аккуратности тут преобладала. Каждый из членов их семьи имел собственное, отличное от других пространство.

Если суровый минимализм спальни был создан Софией, то пространством Маркуса был его кабинет, где книги выстраивались в колонны на полу. Иногда эти башни рушились под собственной тяжестью, и тома разлетались по всей комнате. Тогда добраться до письменного стола Маркуса можно было, только используя книги в кожаных переплетах в качестве ступеней. Маркус наслаждался, работая в этих развалинах книжного храма, это напоминало ему археологические раскопки, где каждый камень тщательно снабжен этикеткой, даже если на посторонний глаз все казалось грудой обломков. В отцовском кабинете всегда было тепло, и уже в детстве Алексис частенько пробиралась сюда, чтобы почитать какую-нибудь книгу, свернувшись клубочком в мягком кожаном кресле, которое постепенно теряло набивку, но все равно оставалось самым уютным и самым милым местечком во всем доме.

И хотя дети покинули этот дом много лет назад, их комнаты оставались нетронутыми. Комната Алексис была по-прежнему выкрашена в депрессивный фиолетовый цвет, который она выбрала в угрюмом возрасте пятнадцати лет. Покрывало на кровати, коврик и гардероб были розовато-лиловыми — цвет

мигреней и раздражительности. Это теперь Алексис так думала, но тогда она настояла именно на таком сочетании цветов. Наверное, ее родители теперь вправе были все здесь перекрасить, но в доме, где оформление интерьеров и мягкая мебель стояли на последнем месте, это могло случиться и через десятилетие.

Цвет стен в комнате Ника определить было невозможно, потому что они сплошь были заклеены плакатами группы «Арсенал», рок-групп и блондинок с невероятными бюстами. Маленькую гостиную Алексис и Ник делили между собой, и здесь Ник молча просиживал долгие часы, глядя в полутьме на экран телевизора.

А вот кухня принадлежала всем. Круглый сосновый стол 1970-х — первый предмет обстановки, который София и Маркус приобрели вместе, — являлся центром, местом, где все могли устроиться, разговаривать, играть в какие-нибудь игры и, несмотря на все жаркие споры и несогласия, часто возникавшие между ними, превращаться в настоящую семью.

— Привет, — сказала София, приветствуя отражение дочери в зеркале.

Она одновременно причесывала короткие светлые волосы и рылась в шкатулке с украшениями.

— Я почти готова, — добавила она, застегивая коралловые серьги, подходившие к надетой блузке.

Алексис не могла знать о том, что внутри у Софии все сжималось, когда она готовилась к этому семейному ритуалу. Этот момент напоминал ей обо всех ночах перед началом учебного года, когда София изображала радость, но готова была рыдать из-за того, что Алексис вскоре покинет дом. Способность Софии скрывать свои чувства, казалось, возрастала пропорционально тем чувствам, которые она подавляла. Она глянула на свое лицо, потом на отражение дочери рядом с ним, и волна потрясения про-

катилась по ее телу. Это было не лицо девочки-подростка, которое София всегда видела мысленно, а лицо взрослой женщины, чей вопросительный взгляд встретился с ее взглядом.

— Привет, мам, — тихо произнесла Алексис. — А папа когда вернется?

— Надеюсь, скоро. Он знает, что тебе завтра рано вставать, и обещал не задерживаться.

Алексис взяла знакомую фотографию и тяжело вздохнула. Даже теперь, когда ей было далеко за двадцать, Алексис понадобилось собрать всю свою храбрость, чтобы попытаться проникнуть в запечатанное прошлое матери, как будто она собиралась нырнуть под желтую полицейскую ленту, ограждавшую место преступления. Но ей необходимо было знать, что думает ее матушка. София вышла замуж, когда ей не исполнилось и двадцати, так не решит ли она, что Алексис совершает глупость, отказываясь от возможности провести остаток жизни с человеком вроде Эда? Или, может быть, она думает так же, как Алексис, и полагает, что Эд совсем не тот мужчина, какой нужен ее дочери? Алексис мысленно повторила свои вопросы. Интересно, как это мать поняла, да еще с такой уверенностью, да в столь юном возрасте, что мужчина, за которого она выходит замуж, — «тот самый»? Откуда она могла знать, что будет счастлива в следующие пятьдесят, шестьдесят, а может, и семьдесят лет? Или она вообще ничего такого не думала? Но в тот самый момент, когда все эти вопросы уже готовы были выплеснуться наружу, Алексис заколебалась, внезапно испугавшись, что мать не захочет говорить на эту тему. Однако оставался еще один вопрос, который она просто должна была задать.

— А могу ли я... — осторожно начала Алексис, — могу ли я поехать и увидеть те места, где ты выросла?

Кроме христианского имени, говорившего о греческой крови, единственным внешним признаком, доставшимся Алексис по материнской линии, были ее темно-карие глаза, и уж она постаралась ими воспользоваться, в упор поглядев на мать.

— В конце путешествия мы собираемся на Крит, и было бы просто глупо, оказавшись там, упустить шанс.

София принадлежала к женщинам, которым большого труда стоит улыбнуться, показать свои чувства, обняться. Ее естественным состоянием была сдержанность, и она сразу же попыталась найти повод, чтобы уйти от темы. Но что-то ее удержало. Наверное, дело было в том — как часто повторял Маркус, — что Алексис всегда будет их ребенком, но не всегда ребенком, который к ней возвращается. София противилась этой мысли, но понимала, что это действительно так. Теперь, когда она видела перед собой независимую молодую женщину, она наконец смирилась. И вместо того чтобы прекратить разговор, как она всегда это делала, стоило Алексис коснуться этой темы, София ответила с неожиданной теплотой, впервые сознавая, что желание дочери узнать больше о своих корнях не просто естественно — пожалуй, оно даже справедливо.

— Да... — неуверенно произнесла София. — Думаю, ты могла бы.

Алексис попыталась скрыть изумление и даже задержала дыхание, боясь, как бы мать не передумала.

— Да, это неплохая возможность, — уже с большей уверенностью сказала София. — Я напишу письмо, а ты отдашь его Фотини Даварас. Она знала нашу семью. Должно быть, она теперь уже состарилась, но Фотини всю жизнь прожила в той самой деревне, где я родилась, а замуж вышла за хозяина

тамошней таверны, так что тебя могут еще и отлично накормить.

Алексис засияла от волнения.

— Спасибо, мам! А где эта деревня? — спросила она. — Если считать от Ханьи?

— От Ираклиона ехать примерно два часа на восток, — ответила София. — Так что от Ханьи, наверное, часа четыре или даже пять — в общем, почти целый день. Папа вернется с минуты на минуту, но, когда мы поужинаем, я напишу это письмо для Фотины и точно покажу тебе на карте, где расположена Плака.

Беспечный стук входной двери возвестил о возвращении Маркуса из университетской библиотеки. Его потертый кожаный портфель стоял, раздувшись, посреди коридора, и из него торчали бумаги. Похожий на медведя мужчина, в очках, с густыми серебристыми волосами, весивший, наверное, столько же, сколько его жена и дочь, вместе взятые, приветствовал Алексис широкой улыбкой, когда она сбежала вниз по лестнице и бросилась в его объятия точно так же, как это делала начиная с трехлетнего возраста.

— Папа! — только и произнесла Алексис, но даже это было излишним.

— Моя прекрасная девочка! — откликнулся он, сжимая ее в теплых и уютных объятиях, на какие способны только отцы столь щедрого сложения.

Вскоре они отправились в ресторан, в пяти минутах ходьбы от дома. Таверна Лукакиса, приютившаяся между винными барами с сияющими витринами, дорогими кондитерскими и модными ресторанами, оставалась все той же. Она открылась вскоре после того, как Филдинги купили свой дом, за это время сотни других магазинов и закусочных возникли рядом с ней и исчезали. Владелец таверны, Грегорио, приветствовал троицу как старых друзей,

каковыми они и являлись. Их визит был настолько ритуальным, что хозяин знал, что закажут его посетители, еще до того, как те уселись за стол. Как всегда, Филдинги вежливо выслушали список блюд дня, а потом Грегорио показал на каждого из них по очереди, приговаривая:

— Дежурные закуски, мусака, стифадо, каламари, бутылочка рестины и большая бутылка шипучки.

Они одновременно кивнули и засмеялись, когда Грегорио изобразил веселое недовольство тем, что Филдинги отвергли новые изобретения его шеф-повара.

Алексис, заказавшая мусаку, баранину с помидорами и сыром, говорила больше всех. Она рассказала о предполагаемом путешествии с Эдом, а ее отец, заказавший каламари, время от времени перебивал ее, перечисляя места археологических раскопок, которые они могли бы посетить.

— Но, папа! — в отчаянии застонала Алексис. — Ты же знаешь, Эда не слишком-то интересуют руины.

— Знаю-знаю, — откликнулся мистер Филдинг. — Но только невежественные люди могут побывать на Крите, не посетив Кносс. Это все равно что приехать в Париж и не пойти в Лувр. Даже Эду следовало бы это понимать.

Но они были в курсе, что Эду ничего не стоит пройти мимо всего того, в чем таится наивысшая культура, и потому в голосе Маркуса всегда звучало легкое презрение, когда речь заходила об этом молодом человеке. Не то чтобы Маркусу Эд не нравился или он не одобрял его поступки. Эд был как раз таким человеком, за какого любой отец хотел бы выдать свою дочь, но Маркус не мог скрыть разочарование, когда представлял себе этого мужчину с большими связями в будущем своей дочери.

София же, напротив, обожала Эда. Он воплощал в себе все то, что София могла пожелать своей девочке: респектабельность, стабильность и фамильное древо, которое снабжало его уверенностью человека, связанного — пусть и чрезвычайно слабо — с английской аристократией.

Вечер выдался хоть куда. Они не собирались вместе уже несколько месяцев, и Алексис хотелось узнать о многом, особенно о личной жизни Ника. Брат Алексис сейчас учился в аспирантуре в Манчестере и так спешил повзрослеть, что родители не уставали изумляться путанице его отношений с дамами.

Потом Алексис и ее отец стали обмениваться смешными историями о своей работе, а София заметила, что ее мысли возвращаются к тому времени, когда они впервые пришли в эту таверну и Грегорио взгромоздил на стул целую гору подушек, чтобы Алексис могла дотянуться до стола. К тому времени, когда родился Ник, в таверне уже появились высокие детские стулья. Вскоре дети научились ценить яркий вкус греческих блюд и с удовольствием поглощали тарамасалату с оливками и цацики — йогурт с огурцами, чесноком и мятой. С тех пор на протяжении более чем двадцати лет почти каждое событие в их жизни отмечалось в этой таверне, сопровождаемое все теми же записями популярной греческой музыки, приглушенно звучавшей в зале. Осознание того, что Алексис уже не ребенок, вдруг поразило Софию сильнее прежнего, и она начала думать о Плаке и письме, которое ей предстояло написать.

В течение многих лет она регулярно переписывалась с Фотини и четверть века назад описала появление на свет своего первого ребенка. А через несколько недель пришла посылка с маленьким, великоленно расшитым платьицем, и в это платьице

София одела своего ребенка на крещение, поскольку традиционной одежды у них не было. Некоторое время назад они перестали писать друг другу, но София была уверена, что муж Фотини дал бы ей знать, если бы что-нибудь случилось с его женой. София гадала, как могла теперь выглядеть Плака, стараясь отогнать образ маленькой деревушки, захваченной шумными пабами, где торгуют английским пивом. Она очень, очень надеялась, что Алексис найдет там все таким же, каким оно было, когда София уезжала.

Вечер продолжался, а Алексис все больше волновалась из-за того, что наконец-то ей удалось чуть-чуть заглянуть в семейную историю. Посещение места, где родилась ее мать, было для нее событием, которого она ждала с нетерпением. Алексис и София обменивались улыбками, а Маркус гадал, не подходит ли к концу время, когда ему приходилось разыгрывать из себя посредника и миротворца между женой и дочерью. Эта мысль согревала его, и он наслаждался обществом двух женщин, которых любил больше всего на свете.

Наконец они покончили с ужином, вежливо выпили по глотку ракии, поднесенной им от заведения, и отправились домой. Алексис собиралась почевать сегодня в своей старой комнате, а потому с наслаждением представляла, как несколько часов проведет в детской кровати перед утренней поездкой на метро в аэропорт Хитроу. Алексис чувствовала удовлетворение, несмотря на то что почему-то так и не решилась попросить у матери совета. Просто в тот момент ей казалась куда более важной — с благословения матери — поездка в те места, где София родилась. И все тревоги по поводу будущего с Эдом на какое-то время отошли в сторону.

Когда они вернулись из ресторана, Алексис приготовила для матери кофе, а София тем временем, усевшись за кухонным столом, сочиняла письмо Фо-

тини, испортив сначала три листа. Но наконец она заклеила конверт и придвинула его к дочери. Весь процесс происходил в молчании, потому что София полностью углубилась в свое занятие. Алексис чувствовала: если она сейчас заговорит, чары могут развеяться и мать, возможно, даже передумает.

С того дня прошло уже две с половиной недели, и письмо Софии было надежно спрятано во внутреннем кармане сумки Алексис, такое же драгоценное, как паспорт. Но оно и в самом деле было своего рода паспортом, поскольку давало Алексис шанс проникнуть в прошлое матери. Оно ехало с ней от Афин и далее, на дымящих парамах, которые иногда встряхивало штормом, — в Парос, на Санторини, а теперь вот на Крит. Они уже несколько дней как прибыли на этот остров и нашли себе номер в гостинице на набережной в Ханье, что было совсем нетрудно в такое время года, когда большинство отдыхающих разъехались.

Шли последние дни их отдыха, и Эд, неохотно согласившийся посетить Кносс и археологический музей в Ираклионе, намеревался провести на пляже оставшееся до возвращения в Пирей время. Но у Алексис были другие планы.

— Завтра я собираюсь навестить одну старую мамину подругу, — сообщила она, когда они с Эдом сидели в прибрежной таверне, ожидая, когда им принесут заказанное. — Она живет по другую сторону Ираклиона, так что я уеду почти на весь день.

Алексис впервые заговорила об этом с Эдом и теперь приготовилась к его реакции.

— Но это ужасно! — рявкнул он и тут же недовольным тоном добавил: — Полагаю, ты возьмешь машину?

— Да, все будет в порядке. До того места все сто пятьдесят миль, и, если добираться на местных автобусах, понадобится несколько дней.